

КИРИЛЛ СЕРЕБРЕНИТСКИЙ

РЕКА, ТРАВА, ЧАЙНИК

И НЕКОТОРЫЕ КОТЫ



Кирилл Серебреницкий

**Река, трава, чайник
и некоторые коты**

«Издательские решения»

2015

Серебреницкий К.

Река, трава, чайник и некоторые коты / К. Серебреницкий —
«Издательские решения», 2015

Пыль, полынь, степное солнце, резкий ветер с реки... неспешное путешествие, в которое увлекает нас автор, может оказаться занимательным и даже отчасти ностальгическим. Для широкого круга читателей.

Содержание

Мемуары.	6
Река	8
Три е + тс	9
Баба Вера	11
Батя и Олег	13
Очки	16
«Вокруг света»	17
И некоторые коты	19
Потусторонние котята	19
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Река, трава, чайник и некоторые коты

Кирилл Серебреницкий

© Кирилл Серебреницкий, 2015

© Арина Смирницкая, иллюстрации, 2015

Редактор Вера Щербина

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru

Мемуары. Фрагменты предисловия

Писать от первого лица в любом случае – дело не особенно пристойное.

Якающийся автор мчится по собственным своим страницам, как Главный Герой, во всей красе своего героического главенства.

«Усилим своей несокрушимой воли я прогнал чувство подступающего липкого ужаса – и мощные мышцы взбугрились на моих атлетически сложенных плечах. Я прищурил свой заискрившийся отвагой карий глаз, спустил цифровой курок пропанолазера – и монстры были сметены огненной лавой.

Цивилизация Каэ была спасена.

– Я люблю тебя, Агор, люблю, – прошептала, приходя в себя, Оо. И вдруг я почувствовал, как её нежное стройное зеленоватое тело доверчиво отдалось моим мощным ладоням. Я улыбнулся растерянно, добродушно и мужественно».

Или:

«Усилим своей похмельной воли я разлепил правую мутную гляделку. Воняло. Скорее всего, я сам и вонял. Вторая зенка не разлеплялась, наверняка она была подбита вдрызг. Но тут я вспомнил, как в жигу размазал вчера в казино тех девятнадцать мудливых бритых амбалов – и мне стало попроще жить на свете.

На моих девочек по вызову наездов больше не будет.

– Бля, я люблю тебя, Гена, люблю, бля, – прошептала Людка. И я почувствовал, как её стройное, нежное, давно не мытое тело доверчиво отдаётся моим волосатым коленям».

Хоть бы авторы, пишущие такие романы, брали себе соответствующие космические псевдонимы: Дар Ветер, Жар Запор. На Западе, кажется, так чаще всего и делают. Но у нас – нет. Употребляется настоящая, по паспорту, какая-нибудь бытовая, серая, как асфальт, фамилия – Кузнецов, Бабенко или Лейзерман.

Чтобы знали, – кто на самом деле спас мироздание.

Но в данном случае я всё же вполне сознательно становлюсь в эту дурацкую позу.

У меня нет иного выхода.

Дело в том, что всё, что я здесь написал, – правда. Настолько, насколько вообще может быть правдива память человеческая.

Город, где я родился, называется – Самара. Он на Волге. На холмах над Волгой.

Этот город основал в 1586 году воевода князь Григорий Осипович Засекин, по прозвищу Зубок.

Перед этим именем и прозвищем Кортес, Писарро и Магеллан вполне могли бы почтительно совершить поклоны, сняв свои яйцевидные, с плюмажами из перьев сказочных карибских птиц, сверкающие шлемы.

Князь Григорий Зубок-Засекин был из рода Рюрика, из Дома князей Ярославских, и, кажется, десять святых насчитал я среди его предков. Был он нищ. От отца ему достались только пустопорожние, не приносившие дохода земли где-то на Вологодчине.

Этот воевода за несколько лет создал заново азиатскую границу нашей державы. Азия тогда начиналась прямо за Волгой, это потом уже Пётр Первый отодвинул её за Урал.

Далее держава, опираясь на эту границу, перевалила через Волгу и стала подминать под себя дальше всё – до самого Тихого океана.

Во главе маленького отряда, таща за собой несколько обугленных пушек, князь появился на Волге, и на пути его, к югу и к востоку от недавно ещё покорённой Казани, лежали государства кочевников. Князь Григорий выстроил Уфу, затем Самару, затем

Саратов, затем Царицын, нынешний Волгоград. Четыре современных областных центра. И наконец, в 1589 году, пришёл на Кавказ, на берега Каспия. Где и погиб в битве на реке Терек.

На месте Самарской области, точнее, в южной её половине – начиналось, и по огромным пространствам длилось, до реки Урал, чуть ли не до Арала, – государство Ногайская Орда. Сами её обитатели, ногаи, именовали свою державу – Мангыпт-улус.

В обширной этой стране почти не было городов. Разве что два-три, и то случайные какие-то.

Вся эта страна была – степь кочевая.

Место, где сейчас Самара, находилось на границе. Похоже, достаточно важная была это точка на не нарисованной ещё карте. Скрещение многих дорог. До неё весной докочёвывал сам мирза Мангыпта, потомок Едигер-хана.

Этот Едигер, как известно, был только наполовину человек, по отцу; а мать его была Убэдэ – такое огромное, косматое существо, не знавшее ни одежды, ни железа, ни огня и жившее в лесах. Женщины-самки Убэдэ были достаточно человекообразны, чтобы породить потомство от человека.

И ведь находились желающие.

В 1586 году с большой неохотой Урус, мирза Мангыптский, позволил русским поставить малую крепость за Жигулёвскими горами, на самой границе своих владений, там, где сейчас село Переволоки. Была подписана договорная грамота, и мирза со своими женами, рабами и войсками, со стадами и табунами откочевал на летние пастбища, на другой конец своего степного государства.

Князь Григорий Засекин поставил крепость – на холме, там, где река Самара впадала в Волгу. Не за Жигулёвскими горами. А перед ними. Перехватив рукой в железной перчатке важнейший торговый путь; отрезав одним махом всё Жигулёвское нагорье от мангыптских владений.

Когда Урус прикочевал на следующее лето, было поздно. Уже стояли бревенчатые укрепления, с них на возмущённых кочевников смотрели пушки. Ногаи повоевали, сколько смогли. И покочевали назад.

Самара в последующие сто лет часто отбивалась от нападений ногаев, калмыков, башкир. Прямо от неё начинались крайне опасные границы. До сих пор южная окраина города – это посёлки Рубежка и Гранный, память о рубеже и границе. И из окон многих самарских многоэтажек видны тянущиеся вдоль города, зеркально сверкающие при ярком солнце, Гатные озера – через них шли гати, по которым переправлялись заграничные купцы.

В том же 1586-м к строящейся Самаре вышли измученные и израненные казаки: остатки отряда Ермака, вырвавшиеся из Сибири. Вели их атаманы Мещеряк и Барабоша.

Князь Засекин приютил их, позволил встать лагерем к северу от Самары, на берегу Волги, на горах. Через некоторое время – Бог знает, что там у них вышло, – воевода и казаки стали друг против друга точить сабли. Вряд ли Ермаковы казаки, еле выбравшиеся из Сибири после полутора лет непрерывных сражений, решили напасть первыми на Самару – это было бы глупо, гарнизон в городе был крепкий. Похоже, что князь Зубок решил, что привезённая из Сибири добыча – стоит того, чтобы рискнуть. Он заманил обоих атаманов обманом в свой стан. И повесил Мещеряка и Барабошу. До сих пор осталась, теперь уже в черте города, Барабошина поляна. Где, вроде бы, – на крутом склоне, нисходящем к Волге, – были повешены атаманы. Теперь этот район именуется:

Поляна имени Фрунзе.

Так я вот о чём. Выходит, что мой родной город стоит на вероломстве и на крови.

Дважды проклятый этот город. Два раза должны были проклясть Самару страшными клятвами: степняки Мангыпта и сибирские казаки.

Река

В детстве – до пятнадцати лет – я жил на улице Степана Разина.

Прямо внизу была – Волга.

Речной порт – минут семь ходьбы, вниз под гору.

Днем шёл с улицы будничной городской шум. Точнее – будничная тишина: Степана Разина была улица домашняя, как старенький уютный двор; а дворы вдоль по ней тянулись – обжитые, как коридоры.

Машина по нашей улице раз в день проезжала.

Быт степано-разинский был наполовину деревенский. В сараях кричали петухи, по дворам гавкали и гремели цепями собаки. В самых глубинах дворов деловые татары разводили сердитых нутрий и придурковатых кроликов. А между тем в двух шагах был

церемониальный и презентационный центр города: улица Ленинградская и площадь Революции.

А ночью звучала Река. До самой поздней осени, до тяжёлых октябрьских дождей, в полночь я засыпал под «Прощание славянки». Под этот марш отходили в ночь теплоходы из речного порта. И до утра, до стука первых трамваев – с Реки неслись зовущие гудки.

Это была – корабельная ночь.

Во тьме мимо затихшего города шли чёрные, мерцающие и мигающие огоньками, огромные и свободные корабли.

Мы – спали, а они – продвигались.

Наша дневная жизнь теснилась в пределах улицы Ленинградской да площади Революции. Наши дни – это магазины молочный, рыбный да хлебный. Наша даль – Центральный рынок.

А в ночи плыли по холодным темным водам Они, чьи дороги измерялись – морями: Балтийским, Каспийским, а то и – Чёрным.

А за морем Чёрным было уже море Мраморное.

А дальше – Средиземное.

А за ним открывались – океаны.

Ведь правда же. Честное слово, океаны. Не могли же врать книги, фильмы и карты.

Наши, советские карты.

Река уводила в моря, моря – в океаны; глубины разверзались под глубинами, чудовищные бездны таили в себе бездны невыносимые.

А над океанами священной своей неизмеримостью открывалось звёздное небо.

Честное слово, ещё совсем маленьким мальчиком, я помню, как думал о звёздных высотах над океанскими глубинами. Что всё это где-то ведь есть.

С самых ранних лет была у меня бессонница, поэтому ночные звуки мне помнятся лучше дневных. И в ночь я духом и мыслью вжился крепче, чем в день.

Так и живу до сих пор.

Три е + тс

Жили мы в очень странном доме – номер 100. На улицу выставлялся деревянным крыльцом, смотрел в два вечно занавешенных окна. Но уходил вглубь двора далеко.

Внизу ютились тёмные сырые подвалы. Там жили какие-то тёмненькие, словно отсыревшие, старушки. Сверху, на полуторном – полувтором – этаже, тянулась наша квартира: две маленькие комнаты, а между ними – две огромные, намертво замурованные печи. Чёрные пустоты под кирпичами. Над нами было пространство, недоступное человеку, дикое, как джунгли: заколоченный, очевидно, громадный, чердак.

Там жили дикие кошки. И плодили уже совершенно диких котят. По обе стороны стояли такие же странные, разнообразные, сложно нагромождённые обиталища из старого красного кирпича и серого дерева.

Жили по этим дворам всё больше тихие старики. И ещё – пьяницы. С соседних дворов забегали иногда мальчишки, но почти все – намного младше меня.

Играл я в одиночку. Летом сутками шастал по крышам сараев, рыскал по кустам – за сараями шёл крутой спуск, густо заросший американским клёном.

Через двор, над старыми курятниками – высилась стена особняка. И особняк этот, особенно в сумерки, высился – совершенно как сказочный замок: стрельчатые окна, башенка, над ней высился острый черепичный купол. С улицы – чугунная ограда: в ряд чёрные копыя. Жил там, как говорили, какой-то граф. Так и называли – Графский Дом. Я, помнится, проходя мимо него, ещё думал: стоял он, скажем, при Петре Первом или нет? А – при Иване Грозном?

Сосед дядя Вася Васяичев, который и родился на этой же улице, говорил моему отцу, что под нашим двором, и дальше – идут какие-то громадные подземелья. И сам он – пацаном ещё – туда пролезал. Ход в эти подземелья шёл из подвалов Графского Дома.

Позже оказалось, что построили особняк в 1906 году, в стиле модерн. И обитал там не граф, а некто Наймушин, первой гильдии купец.

Вокруг были сараи. Сараи, сараи. По крышам сараев можно было почти до конца квартала промчаться – через семь дворов. Целый город сараев: железные гаражи, вросшие в траву дощатки и несокрушимые, как стены старинного форта, ярко-красно-кирпичные строения: остатки, как говорили, столетней давности купеческих конюшен.

Много было заброшенных сараев; умирали одинокие старики, на их сарайное, утонувшее в паутине, барахло никто не зарился. Однажды я приволок домой откуда-то с помойки старинную корабельную рынду – маленький тяжёлый колокол с выпуклыми чёткими буквами. Забыл уже – какое корабельное имя они оглашали. В другой раз моим трофеем стал помятый огромный геликон. И ещё – ржавая двустволка, тяжкий ствол в пол моего роста. И – несколько чемоданов со старыми книгами. Это были толстые тома, в основном – какие-то технические сочинения, с чертежами мостов, фотографиями доисторических каких-то турбин и дизелей. Классе в четвёртом, в благом пионерском порыве, я, тужась и хныча даже от тяжести, оттащил два чемодана с этими книгами в школу. В макулатуру.

Семья наша была, что тогда называлось, интеллигентная. И одновременно, что тогда называлось, простая.

Интеллигентная и простая.

Это были не признаки социального статуса.

А – самоопределение.

Добровольно избранный образ жизни: интеллигентность и простота.

И то и другое – свойства положительные.

Простота, конечно, впереди. Интеллигентность – вослед.

«Мы – простые люди», – это с гордостью произносили.

На этом – настаивали.

На том – стояли.

Мои родители, – и всё их поколение, вся лучшая часть, хорошие честные люди, положили все силы и всю жизнь на то, чтобы найти требуемое Высшими Государственными Интересами равновесие: между интеллигентностью и простотой.

Это было практически невозможно.

Как только взбирался человек на призывно-ажурную, влекущую, но тоненькую и шаткую лесенку интеллигентности, звенел тревожный сигнал: стоп. Не слишком ли человек уже истончился? И оторвался?

Человек нырял в объятия просторной, плотной, хлюпко затягивающей простоты.

Но и это было – не то. Выла осаживающая сирена.

Нет, никто не пугал никого. Ни интеллигента, ни простеца. Корректировали.

Оба, простец и интеллигент, обязаны были продвигаться во все стороны сразу.

И поторапливаясь. Побыстрее. Попрогрессивнее.

Если оставляли силы в этой борьбе, люди или канули недвижно на тёмное дно простоты, или в неуклюжей позе застывали на качающемся пике интеллигентности.

В глубинах ждала, обнимала и, как могла, утешала – водка.

И на высоте – она же утишала невроты и рассеивала экзистенциальный солипсизм.

Мои родители обошлись без водки. Может, равновесие сумели найти. Кто знает.

Но вот фамилия наша была для того времени довольно сложная, особенно на письме: Серебреницкие.

Через три «Е» и «ТС».

Если произнести нашу фамилию чётко, – то молодцеватая, щегольская получается фамилия. И, пожалуй, если всмотреться – какой-то в ней вызов заключается. Какой-то вычурновато-приузоренный полупольский гонор.

Эта сложность несколько мешала движениям в сторону простоты, а интеллигентность оттеняла слишком уж резко. Провокационно.

Мне фамилия перешла от отца, как положено. А вот ему – от матери. То есть от моей бабушки. Это была её девичья фамилия. Отец моей бабушки Борис Ефремович Серебреницкий – коллежский асессор, инженер путей сообщения. Уже, наверно, лет в семь я знал, что коллежский асессор – это вроде как майор, только штатский. И что тайный советник – это не тот, кто шепчет на ухо тайные советы, а вроде как генерал-лейтенант.

Тайным советником был мой прапрадед, Ефрем Сергеевич Серебреницкий.

А подростком я, трудно вспомнить – как, выудил от бабушки совсем уж опасное словосочетание, связанное с фамилией нашей: потомственный дворянин.

Мой отец, Игорь Викторович Серебреницкий, рассказал мне следующее.

Он – молоденький лейтенант; за спиной – война в Венгрии, служба в Германии. Впереди – небезосновательные офицерские надежды.

И вот прислали его по новому месту службы. Явился он доложить о прибытии. Входит в кабинет:

– Товарищ полковник! Лейтенант Серебреницкий по вашему приказанию прибыл!

Полковник медленно, – как жерло орудийного ствола – навёл на моего папу тяжёлое своё рыло:

– Чё?

– Лейтенант Серебреницкий прибыл, товарищ полковник.

– Чё-чё?

– Лейтенант Серебреницкий...

Полковник минуту смотрел пристально папе в глаза. Затем – сказал:

– Так. Слушай, ты. Сереницкий. Я из тебя Иванова буду делать.

Баба Вера

На Степана Разина, 100, в старом моём доме – внизу, в самом тёмном подвале, в вечных сумерках, помимо других старух, обитала и баба Вера. Её побаивались. Мама моя, например. Знали: Вера – отчасти как бы опасная: в Бога верит.

Один раз мама послала меня, малолетнего, к ней – квитанции за свет отнести; я спустился по высоким ступенькам вниз, куда-то в глубины полуподвала, открыл ободранную, толстую, как в заброшенном подземелье, дверь. Вот, казалось мне, сейчас зайду – и немедленно заговорит баба Вера про что-то сыну коммуниста и пионеру запретное. Про что-то иное. Чего я совершенно ещё не знаю.

Примерно так же я шёл бы на встречу с инопланетянином.

Ничего мне монашка не сказала. Квитанции взяла – и всё.

Но в углу у неё, под низким потолком, горела лампадка. И таились крохотные тёмные иконки.

И когда я от Веры поднимался наверх, было грустно как-то. Как будто упустил я нечто очень важное, не узнал того, чего никто ещё не знает.

Ужасно я хотел у неё всё выпросить, но не знал – что именно.

Это был единственный человек верующий, которого я знал – лет до семнадцати.

Обычно в Бога верили бабушки.

Бывало, что задорно: ну и молюсь, и – что? Дозволено. Но чаще виновато: чего уж там, мол, куды ж денешься?

Бабушка моя в Бога не верила. Уверенно вроде бы, даже сердито – так, как не верило комсомольское поколение её молодости, двадцатых годов. Но мою бабушку, в своё время в комсомол так и не приняли – к великой её печали: классово чуждая была

у меня бабушка.

Когда с утра в набитый плотно автобус вворачивались старушки в платочках, хищно толкались острыми локтями, воинственно протискивались, наступательно требовали уступить места, – народ сурово ворчал:

– Лезут тут. Им в церковь, а людям, между прочим, на работу.

Старушки в платочках противопоставлялись людям. Церковь противостояла работе.

Вера в Бога отчётливо отмежёвывалась от суетной повседневности.

Тем и влекла она меня тогда – как Алису в райский садик через узенькую дверцу.

Вот бы сейчас бы – так бы.

В годы моей юности в городе Куйбышеве было два храма – Покровский и Петропавловский.

Рядом с каждым был стадион. Их ещё в хрущёвские времена нарочно выстроили на месте церковных кладбищ – в противовес. Так и говорили (да и до сих пор говорят): «церковь, где «Динамо» и «церковь, где «Буревестник». Стадионы тогда ещё жили бурно и громко, а церкви – тихонечко. И каждый почти день в храмах слышался футбольный марш. Но и на стадионах, в разгар матча, разносился колокольный звон.

И вдруг повлекло меня туда, в храм – неудержимо.

Церковь – это была настрого запретная узенькая щель в другое мироздание.

Там всё было преисполнено великими тайнами. Веял сумеречный сказочно средневековый дух.

И я чувствовал, что церковь при стадионе, чистенько выбеленная, с голубенькими выцветшими куполами – не сама по себе. Как гигантские руины давно уже разрушенной, но не исследованной ещё археологами цивилизации.

За ней – восходило в туманные глубины нечто древнее.

В четырнадцать лет меня уже вызвали к директору за то, что я на уроке химии затеял какой-то спор с учительницей – о том, что Бог как бы есть. Директор, Лилия Михайловна Дембо, явно не знала, о чём говорить со странным восьмиклассником. И отпустила меня с Богом.

После этого я всем в классе наврал, что бываю в церкви. И – посмотрели на меня испуганно, с интересом. Девочки. Что немаловажно было тогда.

Тогда я, тайно, на какой-то праздник, действительно, обмирая, очутился в Покровском соборе. И долго рассматривал, запрокинув голову, заоблачные лики на куполе.

А это было не положено.

А я не знал.

И богомольные старухи со всех сторон вдруг зашипели, заскрипели:

– Чего тут ходишь? Хулиганить пришёл? Тут люди молятся, а не глазают.

И я – со всей силы рванул в ужасе в двери, по ступенькам вниз и – через длинный тихий двор – на улицу. В привычный мир.

В пятнадцать лет я на две недели взял у знакомого Евангелие 1914 года издания. Господи, как я завидовал ему, какая была острая боль, как я, ещё не осознавая, Кому, – роптал: почему не я, почему какой-то – он, равнодушный, не интересующийся, нашёл на помойке эту Книгу.

Я успел переписать в тетрадку всё Благовестие от Марка. И половину от Иоанна. За неделю, кажется.

В шестнадцать я (тайно опять же) крестился.

Всё было ужасно.

Одновременно крестили двух младенцев – оба верещали, как собаки Павлова.

Я мелко дрожал – оттого, что все (в том числе и девицы, наряженные и накрашенные, мамы и родня младенцев) – видят моё голое тщедушное тельце с нечистой подростковой кожей.

Повеление «и дуни и плюни на него» – на диавола, то есть, – окончательно меня пришибло. Из последних сил я прошептал: «фю» и «пфу».

Крестил меня батюшка о. Иоанн Букоткин, уже покойный ныне; с виду совершеннейший он был гном: крохотный, бородатенький, очкастенький старичок. Когда я попытался его уговорить крестить меня в одиночестве, потому что стесняюсь я на людях раздеваться, – батюшка стал меня успокаивать:

– Да что ты, детка, знал бы ты, какой я был, как с войны пришёл; больной весь, в сыпи, в чирьях, сорок семь килограмм весил.

Сразу после Св. Крещения я сообщил батюшке, что намерен уйти в монахи и принять схиму. О. Иоанн руками замахал:

– Да что ты, деточка, – сразу уж и схиму. И в монахи не стоит – какой из тебя монах? Ты, может, женишься ещё, и у тебя детей будет шесть человек.

Больше я батюшку этого никогда не видел.

Детей у меня никаких не было. Так что рассказа о дивном пророчестве не получится.

В одном о. Иоанн прав оказался – монах из меня получился бы скверный.

Егозливый такой, въедливый монашишко. Наверно. Думаю, что.

Хотя...

Батя и Олег

В 1991 году окончательно исчез СССР.

Не обрушился, а – наконец истаял, как грязный, почти чёрный сугроб к концу мая. Остал от снежной своей громады – только сырость, мутные лужицы.

Есть в Самаре такая Хлебная площадь.

Кстати сказать, это то самое место – на вершине горы, – где когда-то выстроил крепость жестокий князь Засекин. Но от бревенчатой крепости за два века до того следов не осталось, и саму гору город уладил.

Сейчас это – жидкий скверик, кольцевая трамвайная, по одну сторону – серая громада городского элеватора; по другую – закопчённые стёкла заводского корпуса. И вот на этом корпусе (там, кстати, работал мой отец) висел лозунг. Когда-то красный, а на моей памяти – уже тёмно-серый, провисший: «Все дела, свершения и помыслы – Партии!»

Когда мне случайно попался он на глаза – то я, осознав суть, ощутил раздражение.

Дела – ясно. Делать что-то против себя Партия не позволяет, это разумно.

Свершения – тоже понятно. Это примерно то же самое, что дела. Можно было и не повторяться.

Но ведь ещё им – и помыслы?

И, кажется, с той минуты я впервые почувствовал, как не люблю я эту Партию. Не дождёшься, подумал я тогда.

Ещё и помышлять о вас, чертях.

Помыслы мои – при мне. Ясно?

До сих пор я думаю, что именно поэтому рухнула огромная страна. Не из-за меня одного, конечно.

Из-за того, что непременно требовались ещё и помыслы.

Сейчас попробую пояснить.

Летом меня высылали в пионерский лагерь «Костёр». Это было своеобразное место.

Лагерь принадлежала довольно престижной по тем временам организации «Куйбышево-блрембыттелерадиоэлектроаппаратура». Там работала моя мама.

Но почему-то одновременно лагерем пользовалась детская комната РОВД, кажется, Промышленного района. Эту половину заполняли дети из неблагополучных семей, направленные на летний отдых по льготным путёвкам. Неблагополучно-льготные учили нас жизни. В этой жизни неблагополучия были сплошь, а льготы – только похабные и блатные.

В пионерлагере «Костёр» в нашем отряде было три-четыре неблагополучных. Главный из них был такой Батя.

Он был такой странный, бело-голубоглазый, рыжеватый, весь какой-то влажный, медленный; целый день он грелся на солнце, но солнце его не сушило, белая кожа не загорала: какая-то была у него внутри белёсая сырость.

Отличался он особенно тем, что ненавидел одежду и обувь. Что-то драное на нём ещё бывало одето, обуви же не было у него вообще. Полсмены шли холодные, осенние будто, дожди. И вожатая ему говорила:

– Ты бы маме сказал – она тебе хоть тапочки какие привезёт.

А Батя отвечал:

– А у мамки больно есть тапочки? Мы с ей без тапочков как в тапочках.

И шлёпал дальше по слякоти.

А в соседнем отряде главным был Олег; у него клички не было. Короткое жёсткое имя ему вполне подходило. И это был совсем другой герой. Довольно высокий, жилистый, загорелый; выжженная солнцем белая чёлка; белый сильный шрам на скуле; взгляд – внимательный,

тёмный, неглупый (мне он сейчас помнится не как мальчишка лет тринадцати, а – взрослый уже, прищуренный худощавый парень).

Олег был не просто так.

Это был своего рода Робин Гуд.

Он сражался за справедливость.

Целеустремлённо и беспощадно.

Не только в своём отряде – часто шагал он к нашему корпусу, и за ним всегда – два-три сподвижника. Быстро они окружали нужного человечка, и Олег чётко, без выкриков, коротко спрашивал:

– Ты – Серый?

– Ну.

– Руслана Косого знаешь?

– Ну.

– Ты его ишаком нерусским обозвал?

– Я чё? Не, я ничё... я просто. Это самое.

Серый, подрагивая, оглядывается по сторонам – все приятели уже испарились; остальные смотрят заинтересованно. Издали.

И тут ошарашенно вспоминает Серый, что – дело-то было: два дня назад мяч гоняли, и вполне дружественный Руслан Косой вместо мяча нечаянно дал Серому под колено. Серый заскрипел, зажав ногу: «Ты, ишак нерусский...»

Через час уже Руслан всё забыл.

Но кто-то запомнил.

– Пошли (чёткий кивок – в сторону кустов; были такие там обширные тёмные заросли за туалетами – целый перелесок).

– Олег, а чё такое-то, ну? Чё за дела-то, а?

– Пошли, сказал.

И вскоре из кустов – треск, стоны, и резкие окрики Олега:

– Ответишь за ишака нерусского? Ответишь, бля, я сказал?

Бил Олег долго, жестоко, сбивал на землю, месил ногами.

И так чуть не каждый день он зажимал кого-то в углу: «Ты в суп в столовке плевался?»; «Ты у Жирного батарейки своровал? Пошли».

И оправдываться было бесполезно, да уже и некогда.

Стали замечать, что иногда изменяло Олегу чувство справедливости. Бывало, просто подкатывал:

– Ты – Вовик?

– Я.

– Ты, что ли, больно тут борзый?

– А чё такое-то?

– Не, больно борзый, да?

– Да Олег, да чё такое-то, блин?

– Пошли.

Меня Олег так и не заметил.

Я был такой тихий, мелкий, неинтересный.

Вот Батю он ни разу не тронул.

Батя по-своему был грозен. Только не всегда. Иногда. Как грозовая туча.

На нас он громы не тратил, потому что ему лень было, да и запахло.

Вот: однажды ночью он вылез в окно: за забором его ждали человек семь. Тёмные тени, сильный шёпот. И ушли они в ночь.

Сражаться с врагами?

Грابتь?

Убивать?

А мы были маленькие мальчики, мы и темноты-то ночной побаивались.

Батя был хозяйственный и голодный. Его интересовали шкафчики наши, тумбочки и чемоданы.

К Бате никто никогда не приезжал; а к нам, к приличным мальчикам, часто приезжали родители. И Батя так наглатывался наших персиков, шоколада, груш, колбасы, огурцов, яиц, помидоров, пирожных, лука, рулетов, что раздувался дня на три. В растяжимом брюхе его шла стрельба, наружу вырывались облака ядовитого газа.

Батя неукоснительно проверял наши шкафчики, карманы даже – и деловито изымал фонарики, ножики, значки.

Слава Богу, не надобилась ему одежда – а то половина из нас ходила бы без штанов.

Так вот.

К концу смены вокруг Олега постепенно смыкалось кольцо горячей ненависти. Его уже видеть не могли. И вот уже один, не помню, как его, совсем не сильный, такой даже носатый, ушастый, вечно простуженный – когда прижали его очередной раз, вдруг размахнулся и длинной граблей Олегу врезал по уху.

И что?

Ну побили.

Ну – больно.

И – только-то.

Потом я увидел, как Олег ковылял вдоль забора, зажав руками обколоченную свою голову. Били его чуть ли не вдесятером. Свои же.

И дело вот в чём, я полагаю. Благородный Робин Гуд был – утомителен. Всё время нужно было о нём помнить. Опасаться, беречься; угадывать; не попадаться на глаза, не встречаться с ним взглядом. И усталость от него – всё нарастала, заглушая все страхи.

А Батя – его, в сравнении с Олегом, даже как-то полюбили постепенно. Шепчемся мы по ночам, страшные истории рассказываем – и вдруг пускает Батя короткую очередь, как пулемёт. Зажмём носы и гнусаво удивляемся:

– Оба, как бзднул.

В сущности, вполне терпим был Батя. С ним всё было ясно: всё ценное (ножик и фонарик) прячь, конфеты – быстро уничтожай, останется пара мандаринов – ну и пёс с ними.

Очки

Лет в десять пришлось мне надеть очки по близорукости. Что определило многое из того, что было после.

Для очкарика главное – это не очки носить. А – достойно встретить миг, когда они полетят с носа.

Очки – это непрерывное ощущение хрупкости бытия.

Тонкие линзы – дзынь! Слабенькие дужки – крак!

Дитя грудное справится.

С самого начала я осознавал, что очки – это судьба.

И это меня не устраивало.

Очконос – это не очкист, не очкарь, а именно – Очкарик.

Небольшой такой, забавный. Но при этом вдумчивый, сосредоточенный. Часто встречаются мягкие, шаловливые, резвые очкарики. Но для этого нужна округлость, щёки, брюшко; это не про меня. Я и тогда, и ныне – тощий очкарик. Что предполагает задумчивость, даже некоторую печаль там, за стёклами.

Очкарик – во всём старателен и за всё признателен.

Очкастость – это, кстати, долг перед обществом.

Очкастый грузчик, фрезеровщик, электрик – это нечто серенькое, большое: он порождает мысль о пропащей судьбе, о падении на дно общества. Если не шизофреник, то – эпилептик.

Разумеется, есть множество исключений.

Рыщут по свету очкастые уголовники, некоторые из них пробиваются в авторитеты. Среди серийных убийц очкариков – треть, если не половина.

Много лет – до последнего – я держался изо всех сил. Только в крайнем случае я натягивал окуляры на нос – и, высмотрев что требовалось, быстро срывал. И прятал.

В молодые годы, когда без очков было уже совсем трудно, одна милая дама сшила мне особый кожаный футляр – я носил его на ремне, как кобуру, и вытаскивал очки только по необходимости.

Как кольт.

«Вокруг света»

То паршиво, что долгое время я книги читал.

Собственно, только этим я и занимался.

Оглядываюсь на школьные годы – и вижу только: уходящие за облака башни из книг, между ними – книжные зубчатые стены; и в самой сердцевине – я, маленький такой очкарик. Лежу на животе, листаю, впиваюсь. Впитываю книжный неисчерпаемый нектар.

А вокруг расстились бескрайние, исполненные угрозами пространства.

Некнижные.

Даже часто – непечатные.

Но на самом деле они-то меня и манили.

Классе в шестом я раздобыл несколько чрезвычайно учёных книг: «Критику чистого разума» Канта, трактат о раннехристианских гностиках и ещё что-то. После уроков валился на диван, открывал том – и лежал.

А когда кто-нибудь ко мне приближался, я гордо думал: «А я, между прочим, – Канта читаю».

Что профессор Иммануил (не Эмм-, а именно Имм-, во как) Кант был одним из величайших философов, я тогда уже знал.

Одно название чего стоило.

Чистый разум – и тот ему не угодил.

И был раскритикован.

А тут, кругом, и нечистый-то редко попадается, думалось мне.

Да и где же он вообще бродит – Разум?

Где же вы, братья мои по Нему?

Аууу...

Себя я считал весьма разумным, помнится. Чисто разумным.

Так бы и дал бы сейчас сам себе по очкастой роже.

Обжиться в этом мире, на этой планете, мне помог не Кант. А – журнал «Вокруг света».

Не помню, когда точно мне впервые попался номер этого журнала, но это была – роковая встреча.

Внутри «Вокруг света» содержалось именно то, что нужно было мне. Лично мне.

Как выяснилось.

Кант годился, как оказалось, только для прикрытия.

Настоящий Я – будущий, долгожданно взрослый? какой? – из «Вокруг света».

Канта я, откладывая годами, хотел прочесть. Так и не осилил. До сих пор, почти до сорока лет, – наверно, безнадежно.

В «Вокруг света» я уже лет в десять вознамерился писать – сам. И чтобы про меня там писали.

Каждый номер, каждый без исключения – это была дверь. Запертая; но – пока запертая.

На каждой обложке были – пальмы, синие лагуны, бамбуковые мачты, огромные рыбы, раскалённые дюны, – это был солнечный, роскошно жаркий журнал. Когда речь шла там про Антарктиду, про леденящие метели, это было уютно, – как прохладная ночь после жаркого дня, а завтра снова – чудесная жизнетворная жара.

Помнится, один номер выпадал из общего ряда, какой-то юбилейный: на обложке скучная серая картинка, привычная в то время настолько, что воспринималась как пустое место: здоровенный оскаленный Ленин указывает пальцем, за ним в порыве атаки – солдаты и матросы, со штыками, развеваются знамена. И грозная надпись внизу: «Вокруг света».

Откроешь: там повести. Одна фантастическая, скажем, «Планета Печального Шерифа», американская, – галактические ковбои на сверхзвуковых мустангах, двухголовые добрые великаны, яростные алые карлики: нигде больше такого не печатали.

Следующая повесть – «Берег Обглоданных Скелетов», про контрабандистов Южной Африки; если наше что-нибудь, то тоже: как студенты-стройотрядовцы из Каменогорска спасают почти социалистическую латиноамериканскую республику от заговора агентов ЦРУ. После чего всё-таки отстраивают взорванную злобным агентом ГЭС на реке Оро де ла Орриба.

На улице Ленинградской был такой маленький полутёмный магазин – «Букинист»; там горами лежал «Вокруг света» за многие годы, – чуть ли не за 50-е – правда, разрозненные номера. Знал я ещё два-три книжных магазина, где также пылился на полках мой журнал.

Вставала проблема. На еду мне выдавали ежедневно 25 копеек. Каждый старый журнал стоил дорого: 45 копеек. Я гордо жертвовал любимым коржиком (8 копеек) и молочным коктейлем (11 копеек).

Но денег всё равно не хватало.

Значит – война.

Партизанская.

Собственно, зачем им, всем остальным, «Вокруг света»? Они все как-нибудь и без журнала этого проживут.

Мне он нужен – весь. Все номера, какие только есть.

Повести-то печатались – с продолжением.

Днём в «Букинисте» – два-три покупателя, кипы журналов – в дальнем тёмном углу. В распоряжении моём рубль – на два журнала. Третий я быстро (от страха леденеют зубы) – за ремень, под куртку. Четвёртый – в трубочку и во внутренний карман.

И медленно иду к кассе, спокойно (изо всех сил спокойно) забираю сдачу – десять копеек.

И поймали меня – всего один раз: как истинного фраера, спалила жадность. Куртку так распёрло, что продавщица вцепилась – и выдернула из внутреннего кармана «Вокруг света». И у меня неожиданно тут же прошли все страхи. Я уверенно стал отбрехиваться: что журнал купил раньше. Тётка постыдила меня, постыдила – а я всё своё бормотал.

Несчастный такой, глуповатый маленький мальчик, взъерошенный, схватил сдуру журнал – ой, да он что, сейчас – заплачет?

И меня отпустили. И пошёл я неторопливо. Вразвалку.

Даже отчасти враскорячку.

На животе у меня упрятаны были три плотных журнала, один провалился до самой ширинки.

И некоторые коты

Потусторонние котята

Детство своё я прожил на старинной улице Степана Разина. Улице этой уже было века два с половиной. Её старое имя – Вознесенская улица.

Старая Самара вознесена на нагорье и спускается к Волге как раз от Степана Разина. Три квартала сходят уступами вниз по склону.

А потом – Волга.

Когда с той стороны дул ветер – у нас пахло большими водами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.